

Ё Ж

Ненастный октябрьский день близился к вечеру. Ливший в продолжении нескольких дней дождь размыл глинистый грунт долины, пролежавшей в горах, заросших лесом. Безымянная речка, мелкая в другие времена года, на которой расположился с деревянными пристройками Г...ий прииск, бурливо вздулась от притока впадавших в нее с гор ручьев и грозила вырваться из плоских берегов и затопить прилегающие к ней низменности. Ветер выл в горах, нанося в долину тучи поблеклых листьев; мгlistый туман спускался на высокие верхи гор, заволакивая вершины громоздящихся на них сосен и елей и словно цепляясь за сучья их, когда, прорывая на минуту густую сеть его, ветер разносил его в пространстве разорванными клочьями. Подобная картина осени, неразлучно соединенная с холодом и сыростью, невольно щемит душу и манит скорее вырваться из негостеприимной в это время года тайги¹. Приисковая администрация и рабочие равно спешат покинуть ее.

С утра в этот день работы были прекращены, и часть рабочих употреблена была на разборку золотопромывательной машины; другие сдавали инструменты, которые вместе с частями разобранной машины складывались в сарай. Хлебопеки несколько дней с утра и до ночи сушили сухари для продовольствия рабочих на обратный путь. Приказчики приисковой конторы и материальные, заведующие вещевыми и продовольственными цехгаузами, занимались сведением счетов. Рабочие тоже, в свою очередь, высчитывали,

¹ Горы, заросшие лесом. Тайгой называют в Сибири и местности, в которых расположены золотые прииски. *Прим. автора*

сколько придется получить им из заработной платы на руки. На изнуренных лицах их написано и сомнение в правильности ожидающего их расчета, неизбежно возбуждаемое в них каждый раз многолетним опытом, и радость отдыха со всеми наслаждениями, предстоящими при выходе из тайги в населенные пункты. Радость эта понятна только людям, знакомым с бытом особо выработавшегося в Сибири класса «таежников», как называет народ приисковых рабочих, на которых тяжелый труд и полная лишения жизнь кладут своеобразный отпечаток.

Крестьянин, попавший рабочим на прииски, иногда в течение многих лет бывает поставлен в невозможность вырваться из этой среды и возвратиться к домашним занятиям благодаря тем условиям, какими обставлено его положение. Обыкновенно с ноября месяца и по апрель от золотопромышленников раз'езжают по деревням и селам Томской и по округам смежных с ней губерний приказчики, заведующие наемкою рабочих. По заключению контракта при найме и засвидетельствовании его в волостном правлении рабочий получает задаток от 50 до 60 р., который иногда всецело идет на уплату причитающихся с него податей и недоимок, так как только эта необходимость, за неимением других заработков, и вынуждает большинство крестьян бросать свое хозяйство и идти на прииски. Получение билета рабочему, благодаря притязаниям волостных писарей, никогда не обходится дешевле 6 или 8 руб., и затем из полученного задатка у него нередко не остается ни копейки. Он уходит, оставя свою семью кормиться или милостыней, или ничтожною поденною работою. В контракт вносятся, со стороны рабочего, условия платы, всегда колеблющейся от 80 к. до 1 р. и иногда 1 р. 20 к. с кубической сажени земляной работы, за исключением «старательских» дней, то-есть праздников. За праздничную работу каждый получает отдельный расчет, смотря по количеству добытого золота. Со стороны нанимателя в контракт вносится обязательство продовольствовать рабочего во все время пребывания его на прииске «доброкачественною» пищею и снабжать продовольствием на обратный путь с приисков по окончании работ.

В последних числах марта или в начале апреля, по наступлении оттепели, рабочие сходятся из мест своего жительства на крайние населенные пункты, из которых идет дорога в тайгу. На этих пунктах их ожидают приказчики, которые, по заключении контрактов, отбирают у рабочих билеты. По мере сбора рабочих они группируются в партии и отправляются приказчиками на прииски. По прибытии на прииски рабочие, по степени сил и навыка, разбиваются на группы,сообразно с характером приисковых работ. Одни из них снимают турф, то-есть верхний слой земли, всегда почти покрывающий на 1½ аршина золотоносный пласт, и отвозят снимаемую землю тачками в отвал. Другие в это время разрабатывают очищаемую золотоносную залежь, сваливая песок и кварц в телеги, поднимая их лошадьми по особо устроенным деревянным откосам на верх золотопромывательной машины, или «фабрики», как называют ее рабочие. Иногда для успеха работ требуется отводить русла горных речек. И в этих случаях удваивается трудность работ. Часто самая промывка золота производится в довольно глубоких, вырываемых в земле, шахтах, при чем редко принимаются предохранительные меры и, благодаря этой скупости, рабочие часто платятся жизнью, погибая в обвалах. Немногим счастливым выпадает на долю легкий труд конюхов, наблюдающих за приисковыми рабочими лошадьми и упряжью и занимающихся только отвозкой нагружаемых песком телег на машину. Конюхи отправляют и обязанности ликторов относительно провинившихся рабочих, при чем употребляются не одни розги, но и палки. Остальные обрекаются на труд, начинающийся с 3 часов утра, с коротким промежутком для обеда, и продолжающийся до 9 часов вечера.

Нигде так не развита система закабаления рабочего, как на приисках, где за весь свой летний тяжкий труд работник выносит в очистку лишь несколько рублей, а нередко и копеек. На прииски всегда идет самый горький бедняк. Из задатка он не донесит до прииска и гроша и почти всегда во всю дорогу до прииска питается милостыней. На прииск он приходит оборванный, часто не имея рубахи на теле. А как много тут

представляется ему соблазна! С какой предупредительностью предлагают ему взять из приискового вещевого цейхгауза и полушубок, и сапоги или бродни, и рубашу, и чего только душа ни пожелает! Какой же человек откажется от удовольствия иметь теплое новое платье, чистую рубашу, бродни или сапоги на ногах, из которых не сквозят пальцы и в которых ноги не чувствуют ни холода, ни сырости? И рабочий берет, побуждаемый не прихотью, а необходимостью.

Вещевые приисковые цейхгаузы наполняются вещами, идущими в брак у городских торговцев и скупаемыми гуртом золотопромышленниками за половинную цену. Эти-то вещи и сбываются рабочим по ценам до невероятности высоким. Например, хорошие бродни в городской лавке стоят 1 р. 20 к., залежалые и непригодные по своей непрочности к употреблению они обходятся золотоприискателю в гуртовой покупке от 50 до 60 к. пара. Подобная же пара бродень, взятая рабочим, ставится ему в счет в 2 р. и 2 р. 50 к. Хороший полушубок¹ рабочий мог бы приобрести в другом месте от 12 до 15 р., а взятый в приисковом магазине, весьма плохого качества, он обходится ему не менее 25 р. И так во всем остальном. При этом нужно сказать, что ввоз товаров на прииски посторонним торговцам, которые могли бы возбудить выгодную для рабочих конкуренцию, строго воспрещен, и потому волей-неволей рабочий должен брать из приискового магазина дорогие и непрочные вещи, которые он неизбежно сменит два-три раза в лето. Далее: рабочему полагается от хозяина по праздничным и воскресным дням чарка водки, которую он всегда аккуратно и получает. Но кому же не понятно, что ежедневно изнуряемому 17-часовой непрерывной работой рабочему праздничной чарки недостаточно — и вот он пьет чарку ежедневно, такую чарку, в которую вмещается вина не более двух обыкновенных рюмок. Каждая такая чарка ставится ему в счет от 30 до 50 к., а иногда и просто по таким ценам, какие бог на душу положит.

¹ Бывают примеры, что рабочие платят и по 2 р. за чарку, если почему-нибудь приостанавливается отпуск им вина. — *Прим. автора*

Возьмет рабочий золотник чая из фунта стоимостью в 60 к. (т. е. $\frac{5}{8}$ к. за золотник). Фунт сахару, стоящий в Сибири 50 к., обходится приисковому рабочему в 1 р. и более. Спрашивается, много ли вынесет он из своей заработной платы при окончательном расчете? Прямой интерес каждого хозяина приисков, старающегося заручиться рабочими и на будущее время, заключается именно в забакалении их всевозможными путями. Следовательно, чем более будет всяких приписок, начетов и недоразумений, тем скорее достигается его цель. Благодаря подобной системе рабочий остается или не при чем, или с такою цифрою рублей, с которой ему не дойти и до дома, если б не выручала милостыня. А дома его ждет голодающая семья и совершенно павшее хозяйство, а на будущий год снова нужно платить подати. Что ж остается делать, как не взять новый задаток и таким образом продолжать до тех пор, пока его не сломит на этих же приисках тиф.

Гигиенические условия, в которых находится приисковый рабочий, неминуемо приводят его к болезни. Пища, которую он получает во все время пребывания на прииске от хозяина, заключается из одной солонины, вопреки тексту контракта, доброкачественности весьма подозрительной. Достаточно ли может вознаграждать потери в организме, вызываемые 17-часовою работою, жиденький навар от солонины, с кислой капустой и крупами, с ржаными сухарями, и только по праздникам с свежесыпеченным хлебом? Прямым последствием подобного питания появляются цынга, скорбут и тиф, особенно же последний, часто свирепствующий на приисках. К развитию тифа и ревматизмов много способствуют условия работы среди постоянной сырости и холода. Сырость преследует рабочего и в тесных бараках, сколоченных из досок, где каждый из них спит на соломе, настланной на землю.

Немногие из приисков, принадлежащие крупно-зажиточным компаниям, отличаются большим удобством в помещении рабочих и даже содержат больницы и лекарей, остальные ограничиваются полуграмотными фельдшерами при самом скудном каталоге медикаментов; да и что может сделать даже знающий фельдшер и хорошие медикаменты при тех условиях, в

каких находится больной? Заболевшие рабочие лежат в тех же бараках, как и здоровые, то-есть, в холоду и сырости, при той же зараженной атмосфере от преющей грязной одежды, от дыма махорки и при той же пище из солонины. На каждом прииске найдется много могил, где обрели последний приют бесследно прожитые жизни. Вероятно, не легка совокупность этих условий, к тому же соединенных с строгой дисциплиной (за каждый проступок назначается телесное наказание), что, несмотря на всю выносливость русского простолюдина, они вызывают в рабочих побег и сопряженное с ними голодное скитальничество по лесам и острог после поимки.

От людей, служивших в приисковой администрации, много можно услышать рассказов о характерных облавах, которые устраиваются в лесах для поимки бежавших рабочих, о дикой, остервененной охоте на людей, не вынесших гнета приисковых порядков. И часто бывает, что рабочий, избежавший поимки, так и пропадает без вести, сделавшись жертвой голода или зверя.

Всмотревшись в оборванные толпы «таежников», выходящих в начале сентября с работ, в их изнуренные, исхудалые лица, наблюдатель по внешнему виду их прочтет горькую повесть страданий, выносимых этим людом. Он прочтет и всю меру злобы, развиваемой в них жизнью и людьми, и понятен станет ему тип этого оборванного, наголодавшегося человека и тот дикий разгул, с каким он пропивает кровью добытые деньги, забывая о семье, о доме и о хозяйстве. Что ему семья, дом и хозяйство, когда все его существо надломлено, когда для него нет просвета в будущем?

Точно блудящие огоньки, замелькали при наступлении сумерек фонари, при свете которых заканчивались дневные занятия. Тусклый отблеск огней мелькал и из окон длинного ряда бараков, сколоченных из сосновых досок, с конусообразными кровлями для стока дождевой воды. В них кипела самая разнообразная деятельность. Каждый рабочий, приготовляясь к длинному пути, чинил рваный полушубок или зипун; кто прикреплял отпавшую подошву сапога или отвалившееся

голеннице бродня; иной штопал давно провалившийся верх фуражки или приделывал ремни к мешку под свой необильный вещами скарб. Были и такие, что, наносив в корыта воды, выстирывали, примешивая к ней березовой золы, за неимением мыла, заношенные рубахи или онучи, чтобы по выходе в населенные пункты выглядеть почище. Все с утра успели запастись ржаными сухарями и вяленой говядиной для продовольствия во время пути, и бережно уложенная в котомки провизия висела по стенам или на небольших протянутых жердочках.

Говор и смех не умолкали. Иные сводили между собой счёты проигранным деньгам, в «юрдон» и «трынку»; кто рассказывал для общего удовольствия длинные истории походов, какими богата жизнь каждого таежника. Иногда, где-нибудь в углу, затягивалась длинная, заунывная песня, в другое бы время подхваченная десятками сильных, звучных голосов, но теперь бесследно замиравшая в общей суматохе. Прикрепленные к стенам жировики лили тускло-багровый свет на черные, загорелые лица рабочих, копошившихся в этой душной атмосфере, наполненной миазмами и едким дымом махорки.

В одной из групп, расположившейся у жировика в переднем углу барака, на низком деревянном обручке сидел, починивая бродни, человек средних лет, в засаленной ситцевой рубахе и в жилете. Протянутые на сбитый из глины пол босые ноги обращали на себя внимание уродливостью пальцев и мускулистой толщиной их. Такою же мускулистостью отличались и руки, с засученными у плеч рукавами рубахи, то плотно сжимавшие бродень при прокалывании его шилом, то с силою стягивающие ремень, которым он прикреплял вместо дратвы, отпавшее закаблучье. Время от времени он взбрасывал падавшие на глаза длинные волосы, открывая красивое овальное лицо, поражавшее правильностью линий. На углах сжатых губ, обранных темнорусыми усами и клинообразной бородкой, мелькала улыбка; тонко очерченные широкие ноздри постоянно вздувались как бы от внутреннего подавленного смеха. Но особенную оригинальность придавало наружности его выражение больших черных глаз, ко-

торые то вспыхивали и светились, и что-то резкое, вызывающее, дерзко-насмешливое дышало в эти минуты в каждой черте его, то вдруг потухали, точно уходили куда-то во-внутрь, и вместе с тем самое лицо принимало безжизненный отпечаток.

Данила Филиппыч Карпов, известный более в Т... тайге под названием «Ежа», появился на приисках юношей и с тех пор не расставался с ними. Тяжесть работ и условий приисковой жизни преждевременно избороздила лицо его морщинами и усыпала сединами темнорусые выющиеся волосы; но преждевременно состарившая жизнь способствовала в то же время развитию природного ума, находчивости и не поддающейся препятствиям энергии. На каждом прииске он умел приобретать в среде рабочих любовь и доверие к себе, не порождаящие ни в ком зависти, как это часто бывает между людьми. Много таилось в натуре его кипучей страстности, которая, помимо воли; обаятельно действует на людей и подчиняет влиянию подобных натур. Эта присущая ему сила сказывалась во всем, даже в мелочах.

На приисках, например, всегда не мало найдется песенников с сильными, развитыми голосами, пользующихся обширной славой. Уступая им, Еж все-таки умел петь так, что каждая нота его хватала слушателя за сердце и в ее безыскусственных звуках выливался весь человек с душой страстной, любящей и детски-доверчивой. Мастер он был и на бойкое слово, и на прибаутку. Иногда что-то наивное, детское проглядывало в этом сильном человеке, но в то же время он — ребенок — не позволял никому наступать себе на ногу, и люди, физически вдвое более сильные, нередко робели перед ним. Простые, самобытные натуры тем сильны, что в них нет выдержанной хладнокровной рассчитанности, с какою большинство людей относятся к своим ближним. Они всегда и во всем искренни, смело глядят в глаза каждому и не задумываются перед опасностями, руководимые сознанием своей правоты. Это своего рода фанатики, смешные и непонятные для людей, выросших в правилах, усвоенных образованными сословиями. Там, где другие смиряются, подчиняясь необходимости или падая духом, они вооружа-

ются всею силою своей страстной души, находят цель жизни в борьбе, не радуясь при торжестве и выказывая геройскую стойкость, когда сами становятся жертвами ее. Таков был и Еж. Он не любил, как и большинство людей с сильным, сосредоточенным характером, вдаваться в рассказы о себе и о своих подвигах, но самое название «Ежа», данное ему таежниками, метко характеризовало нравственный склад его и деятельность. Он не покинул ни одного прииска, не оставив по себе рассказа между рабочими, где бы энергичная фигура его не являлась протестующей против произвола и насилия.

Не обошлось у него без столкновения и с администрацией Г о прииска. В числе рабочих был один старик, называемый «Рубцом» за шрам, рассекавший левую щеку и губы. Это было ветхое существо, доживавшее на приисках свою страдальческую жизнь и превращенное временем в идиота. Силы постоянно изменяли ему, и труд, легкий для других, для него становился тяжестью. Но как покорное животное, привычное к работе, напрягая силы стащить грузный воз, наконец, падает, так нередко падал и Рубец от непосильного для его лет напряжения. И как в тусклых глазах животного появляется в эти минуты выражение, молящее о помощи и пощаде, — такое же выражение принимали в подобных случаях и глаза всегда молчаливого Рубца. Он был жалок; молодежь смеялась над ним, он покорно улыбался в ответ, на насмешки и шутки их. Однажды Рубца, работавшего в разрезе вместе с Ежом, надсмотрщик ударил по голове за какую-то сделанную им ошибку. Удар был так силен, что Рубец упал. Остальные рабочие, привыкшие к этим сценам, не обратили на нее внимания; но не то было с Ежом. Помогши Рубцу подняться на ноги, он тихо спросил надсмотрщика: «Кого ты бьешь? Есть ли в тебе душа... одумайся!» Немногих слов этих было достаточно, чтобы надсмотрщик накинулся и на непрошеного заступника. Но едва он ударил Ежа, как в виду всех рабочих покотился кубарем. С налитыми кровью глазами, с лицом, искаженным бешенством, Еж убил бы надсмотрщика, если бы во-время не отняли его рабочие. «Задеру, задеру на-смерть!» — кричал управля-

лощий, приказав привести к себе Ежа, когда ему доложили о поступке его. Но, вероятно, и по фигуре прошедшего к нему Ежа и по тону, каким он произнес: «Дери! я здесь!» — управляющий понял, с кем имеет дело, и молча ушел в свой дом. В тот же день Ежа перевели в дальний разрез на тяжкую работу, куда обыкновенно посылали только опальных рабочих. «Ну-у, не сдобровать Ежу!» — шопотом говорили между собой рабочие, зная, что управляющий не из тех, которые прощают обиды...

Но возвращаясь к началу рассказа. Закрепив один бродень, Еж продолжал ту же работу над другим, изредка, поправляя светильню чадившего жировика и прислушиваясь к шедшему около него разговору.

— Жиру мужику нагуливать и свыше дозволенья нет! — произнес весьма пожилой рабочий, с большою лысиной на широкой голове, и, высучив на голом колене толстую нитку вдвое, вдел ее к свету в иглу и обвел слушателей лукаво-насмешливым взглядом. — Жир мужику — баловство, на то об тебе и пекутся, чтобы ты не вырос свыше меры, а вырастешь — ну, и обрывают с того конца, где у нашего брата ума боле. Ты вот погляди на скотину: покоть у ней ребра напоказ — смирна, а нагуляла жиру за лето — отколь и прыть возьмется! Так и мужичье дело. Дай-ко бы мужику за все сытым быть... и-и неспособился бы! Что около сытого коня, то и около сытого мужика, други, ходи с оглядкой — бры-ы-ык-нет! Сытого-то мужика в узкий хомут не впряжешь!

— Нешто, Фрол Иваныч, мужиков-то впрягают? — прервал его молодой парень, с худой, впалой грудью, сидевший поодаль от всех.

— Мужик-то, почитай, чище другой лошади на вожже-то ходит!

— Впервой слышу!

— А тоже лезешь с людьми разговаривать! Э-эх, Анчут, Анчут! голова-то с овин, да в овине-то клин! Знай же, что промеж тобой и скотиной та разница: на скотину хомут силой надевают, а ты в него сам лезешь, да еще потуже затягиваешься! И хомут этот невидимка, простому человеку даже не в примету! А что, к слову спросить, Данила Филиппыч, — обратившись

к Ежу, спросил он, — никак у нас ноне с тобой до последней петли затянуто?

— Тугонько! — ответил Еж, взбросив волосы и открыв лицо, с которого не сходило веселое настроение.

— Много, по-твоему, денег-то придет?

— Не выговоришь...

— О-о! Выходит кругло-ж, а?

— И кошель экого не знаю, где подобрать, куда б скла-а-асть!

Фрол Иванович вместо ответа хихикнул как-то в себя и мотнул головой.

— Ноне, Фрол Иванович, в плесе не защеголяем! — продолжал Еж; — у всех тугонько!

— Не пораспустить ли, а?

— Боятся!

— Не натерло еще, выходит?

— У иного и перетерло, да, вишь, трахтуют, кабы волдырь не сплыл: уж больно садко!

— Не раскачались, — погоди!

— Не-е-ет, Данилушка! Видал, чего былиночка-то боится? Не дождя, не грозы, не холодной росы, а острой косы!

— Фрол Иванович! — вступился грубый голос, заглушивший собой и говор и смех; — а ты слышал ли, косы-то бояться, и былью б не расти! Да вот растет же?

— Слышал я это, Памфилушка, а вот ты-то слышал ли: зернышко-то на мякине держится, да через мякину и кормится, а все как нардеет, так мякину же к земле клонит, а не мякина его... Отгани-ко вот...

— И прибауток же... ах ты, братец мой... и где это он наковырял их!

— Наковыряешь... как шестьдесят-то семь годков богу и великому государю отслужишь. Много я видывал, други! Видывал, как и зерно мякину гнуло, а колоски с корешком вырывали! Не видал одного только, да и не увижу, чтоб мякина зерно пригнула. И все, други, скажу: ровно прежний-то народ покрепче был, а ношешный что-то жидковат!

— На худой пашне, дядя, и хлеб неиздашен, — заметил кто-то из окружающих.

— Э-э-эх!.. одна бы пашня-то, и уход-то один бы.

да уж так... На крупный народ неурожай пошел, куда ни погляди... Ах, даже говорить-то...

— Аль устал?..

— Устаешь. Язык-то мозолить надоело, и он, что брус, — стирается.

— Стало быть, худой брус, коли стирается. Добрую-то брусину не скоро сотрешь.

— Сотрешь и добрую!.. Ржавое железо всякой брус портит! — верь!

— Памфил Карпыч, ты с ним не спорь! Загадки пойдет метать, хошь тын городи! И кто это, дядя Фрол, тебя учил им?

— Учил-то меня один быс с вами учитель, да вишь, не всем, погляжу, эта грамота дадась...

— Я, дядюшка, первый неграмотный, ты меня в свое слово не путай!..

— Ты, Анчутушка, и сам в своем слове запутаешься.

Общий взрыв хохота прервал Фрола Иваныча. Даже сам Анчутка захохотал и закаплялся, схватившись рукою за грудь. Между тем, около Фрола Иваныча по-немногу стали группироваться и остальные рабочие.

— Ох, горе да нужа, голод да стужа всему, други, научат, — продолжал Фрол Иваныч; — только не всякой смышлен из этой грамоты-то выходит!

— Обшлифовала тебя, Фрол Иваныч, наука-то! должно, с нее у тебя и голова, што пузырь, гола!.. — слышалось из среды столпившегося кружка.

Большинство рабочих давно уже покинуло свои занятия и стеснилось около словоохотливого Фрола Иваныча.

— А ты, Данилушка, штой-то плотно броденьки-то чинишь?.. Аль путь-то далек, а? — с лукавой улыбкой спросил-он Ежа.

— Мое, Фрол Иваныч, дело такое: не знаешь, где ляжешь, не чуешь, где встанешь! Хочу ноне своим неводом рыбу ловить.

— Закидывай, Данилушка, мутное озеро-то, — улов будет, а я на пята!..

— Становись, дядя Фрол, старый ум молодому заручка. Хошь пуху не добудем, да перье отстоим. Что ж, братцы, пойдем кто в полавки к моему неводу, а?—

взбросив волосы и весело посмотрев на окружающих, спросил он.

Фрол Иваныч, низко наклонившись над работой, чтоб скрыть выступившую на лице усмешку, быстро замотал в воздухе иглой.

— А глыбко ты будешь закидывать-то, Данила Филиппыч?..

— Рыба-то поверху не плавает, а по дну! — с улыбкой ответил он.

— С нашего брата пух щиплют — не спрашивают, больно, аль нет; так и нам — закидывать, так уж во всю мережу!.. — произнес из толпы пожилой старик.

Кто знаком с русским простолудином, тот, вероятно, замечал, с какой иногда изумительной легкостью возбуждается он. Одного едкого намека, острого слова бывает достаточно, чтоб пред ним выяснилась истина, до тех пор и не зарождавшаяся в уме его. Но благодаря этой легкости возбуждения он и действует без определенного плана. При всем запасе энергии, в которой нельзя ему отказать, у него недостает твердости выдержать до конца в предпринятом деле. Так и теперь, затаенная дума каждого нашла верный отголосок в общем ропоте неудовольствия, все более и более возвышавшемся в среде рабочих.

— Не совсем же ржаво железо-то, Фрол Иваныч, а? — окликнул, подмигнув на гудевшую толпу, молодой парень с курчавыми светлыми, как лен, волосами; — точил, точил, да и наточи-ил?

Вместо ответа Фрол Иваныч, также усмехнувшись как-то во-внутрь, молча наклонился над своею работой. Фрол Иваныч, как и Еж, пользовался большим авторитетом в среде рабочих. В грубых, но крайне подвижных чертах его лица выражалось много ума и самого наивного добродушия. Небольшие серые глаза, в старческих покрасневших веках, окруженные сложную сетью точно иглою проведенных морщин, казалось, не могли выражать иного чувства, кроме смеха, но смеха, никого не оскорбляющего. Это был человек того типа людей, жизнь которых всегда составляет противоречие с выводами, какие они способны делать благодаря своей наблюдательности. Они всегда бескорыстны вследствие своей безграничной

доброты и несмотря на весь свой опыт, на все уроки жизни, всегда доверчивы к людям. Никто не способен к такой самоотверженной дружбе, как они, и никто не способен в то же время сделать так много зла — при всей своей доброте и незлобivosti, — как они, под увлечением охватившего их чувства. Податливость их натуры способствует уживчивости во всякой среде, при всяких обстоятельствах. Они иногда пользуются значительным влиянием на окружающих, и в то же время никто более, как они, не нуждается в посторонней поддержке, в подчинении влиянию людей, часто стоящих далеко ниже их по своим нравственным качествам, но имеющих более устойчивый характер.

Между Фролом Ивановичем и Ежом, несмотря на противоположность их характеров, существовали самые теплые, дружеские отношения. Подобная дружба, не охлаждающаяся ни при каких обстоятельствах, часто встречается в быту народа. У простолюдина нет ничего заветного для любимого человека. Хозяйство их взаимно открыто для пользования друг у друга. Они без спросу берут лошадей, вещи, если встречается в них надобность, берегут, в случае отлучек, оставляемое на их попечение хозяйство, с большей заботливостью, чем собственное. Обмануть друга, выдать его в несчастии считается преступлением, для характеристики которого нет и слова.

— Раскачал, Данилушка, мякину-то, быть дождю с градом! — с иронией произнес Фрол Иваныч, обратившись к Ежу: — устояла б только!

— Устоит!

На следующий день во флигеле, примыкавшем к главному зданию прииска и квартире управляющего, с вывеской на дверях «Контора», с утра густою массою теснились рабочие. Комната, занимаемая конторою, была обширна. В одном углу ее, огороженном плотною решоткою, сидел главный конторщик, молодой человек с длинными белокурыми волосами. Двое помощников и человека три конюхов окружали его. Несмотря на бессонную ночь, проведенную за сведением расчетов, и конторщик, и помощники его были в веселом расположении духа: для них, как и для рабочих, окончание утомительного приискового сезона и выезд на

зиму в города — самое веселое время. В среде рабочих шел оживленный говор и смех. Несмотря на то, что дверь была раскрыта настежь и осеннее утро, наступившее после ненастной ночи, было морозно, в комнате царствовала невыносимая духота. У небольшой дверцы, около решетки, стоял конюх, отворяя ее для пропуска за решетку вызываемых в алфавитном порядке рабочих. Расчет их не представляет продолжительной процедуры. Рабочий получает на руки билет, хранящийся в конторе, и при нем счет, в котором выписывается все забранное им, с цифрой стоимости каждой вещи или продукта. Во избежание тесноты рассчитанного рабочего выпускали из конторы в противоположную дверь, также охраняемую конюхом. В то время как в задних рядах рабочих слышался смех и говор, в передних, жавшихся у решетки, наблюдалось молчание. Каждый из рабочих зорко следил за всеми действиями конторщика и особенно, за одним из помощников его, сидевшим по правую сторону стола, около высоких стопок ассигнаций и медных и серебряных монет.

— Николая Митрича с зимним деньком, что с горячим блинком! — произнес вдруг протеснившийся к решетке молодой парень, с бойким, выразительным лицом, вытянувшись во фронт перед решеткой.

Выходка эта была встречена общим прокатившимся в толпе смехом; конторщик поднял голову и улыбнулся.

— Ты все с шуточками, не унялся еще!

— Мяли, Николай Митрич, да отстали; из неспорой глины, сказывают, горшка не обожжешь! Не томите душ-то в отпущении грехов! — заключил он, кивнув головой на рабочих.

Абрамов! Егор Абрамов! — произнес конторщик, глядя на толпу.

К решетке протеснился молодой, неуклюжий на вид парень.

— Иди, растопыривай карманы-то! — сострил конюх, затворяя за ним решетку.

— Тридцать два рубля 83 копейки! — подавая ему билет, счет и деньги, произнес конторщик.

Молча приняв деньги, Абрамов медленно пересчитал

их и, немного подумавши, с расстановкой повторил: «Так энто тридцать-то два рубля всего? Ловко!».

Гул смеха был ответом ему.

— Ловко... ай, ай! — снова повторил он, повидимому не придя еще в себя от поразившей его цифры. — Энто за какие ж бы провины обшарпали-то?

— Тебе дан счет и считай, — ответил тот, не глядя на него.

— Считай! Ты мне словом скажи. Я вот еще неграмотный!

— Акимов!—вместо ответа выкликнул конторщик.

Толпа снова заколыхалась, давая дорогу хромоногому старику, с худым, морщинистым лицом, обросшим клочками волос вместо бороды. Войдя за решетку, он перекрестился два раза в передний угол и поклонился конторщику.

— Шестьдесят восемь рублей! — подавая деньги, также вместе с билетом и счетом, сказал конторщик.

— Что ж, ответь мне что ни на есть! — снова обратился к нему Абрамов.

— Что ж тебе ответить-то?..

— За что обшарпали-то меня! По моему-то счету, боле ста рублей надоть на руки бы!

— Сосчитал же! — с усмешкой обратился к конторщику сидевший около него помощник.

— А ты думал, что мужик, так и счету не знаю, — прервал его Абрамов, весь вспыхнув и встряхнув волосами; — нет, я брат еще тебя научу!

В это время и старик, пересчитав деньги, замаялся и робко произнес:

— Маловато бы и мне-то, ровно!

— Чего ты ждешь еще? — нахмутив брови, спросил конторщик, обращаясь к Абрамову. — Тебя рассчитали!

— Нет!

— Как нет, ведь ты деньги получил?

— Додачи жду! Мне следует сто рублей, а кинул, что собаке кость, и рассчитал! Нет, ноне у нас у самих головы-то не в обручах! Ты вот и языком шевельнуть не хошь, за што обшарпал, даешь и спрашиваешь: чего мне надоть! Я знаю, чего мне надоть, мне мои деньги подай!

— Да ты пьян, верно? — с удивлением произнес конторщик.

— Студеной воды два ковша выпил, точно! А ты, почтенный, не напивши, не кори! Пьян! С обману-то вашего охмелеешь!

— Ты забылся? Где ты стоишь?

— Место не продавлю, не бойся!

— Выведите его! — весь покраснев, обратился конторщик к конюхам.

— Это вместо расчета-то! Нет, я еще не пойду, ты мне, наперво, подай мое кровное, да тогда уж гони! Слышь, братцы, выводить хотят! — обратился Абрамов к толпе, среди которой царило глубокое молчание.

— Егорко! Подь лучше без греха! — вступился один из конюхов, неохотно придвигаясь к нему.

— Мне мое подай, тогда и сам уйду, а ты не подходи.. и, ей-богу, не подходи, коли скула цела!

Но не прошло и минуты, как с криком: «Братцы, что ж это, ограбили, да и гонят!» он вылетел за дверь конторы и, присев на земляную завалину, заплакал, уткнув голову в руки, забыв и о шапке, выпавшей из рук его при борьбе с конюхом и выброшенной далеко от двери в грязь.

Что-то неясное пробежало в толпе, и вслед затем снова наступила тишина.

— А ты чего ждешь? — спросил конторщик не то усталым, не то взволнованным голосом рассчитанного старика, — ведь деньги получил?

— Получил, получил, дай тебе бог! Только, говорю, маловато бы, ровно... ну, да уж коли что... так чего говорить... гоняете!... А-а-ах! — и сжав счет и деньги в руках, он направился к той двери, откуда был выпрожен Абрамов.

Вызванный вслед за ним, по порядку, высокий, сутуловатый рабочий молча всунул полученный билет за пазуху, пересчитал деньги и, размотав веревку, прикреплявшую к ноге голенище бродня, заложил за него деньги и угрюмо спросил конторщика:

— Все?

— Все!.. — ответил тот, вопросительно посмотрев на него.

— Видать, густо месили, да хлебать нечего! — задумчиво произнес он. — Неуж и все тут? — снова спросил он. — В эфтакой-то препорции обсчитывать нашего брата, на мой мужицкий ум, — грабеж.

— Выражайся полегче, любезный! — предостерег его конторщик, весь покраснев. — В другом месте можешь говорить, что угодно, а здесь будь вежлив!

— Слово-то не обух, не бьет! И у березки слезки текут, когда с нее лыко дерут — не токмо наше дело! Заговоришь, как в три-то скребла огребают! А-а-ах, правда! без пути пустырями по свету бродишь, только к людям не заглядываешь! Дай вам господи чужие крохи есть, не давиться; людской слезой, что соленой водой, не напиться. Экая совесть-то у людей, братцы! — обратился он к толпе, — почесть, третьей доли не дали того, что доводится, а-а!..

— Выведите его! — обратился к конюхам начинавший выходить из терпения конторщик.

— Доколь же это, братцы, глумиться-то над нами будут?

— Иди, иди, Вавило, нечего! — произнес один из конюхов, беря его под руку.

Толпа заколыхалась, и к решетке выступил Еж.

— Иди, Вавило! — произнес он среди невозмутимого молчания. — А ты, ваше почтение, кликни нам управляющего! — обратился он к конторщику. — Мы с ним поговорить хотим!

— О чем это? — спросил его смутившийся конторщик. — Если что нужно, говорите, я передам.

— В чужую кашу; ваше почтение, свою ложку не суй... Мы ее и своими расхлебаем!..

— Ты кто такой, чей позываешься?..

— Карпов, а завсе-то Ежом зовусь...

Конторщик молча переглянулся с своими помощниками, лица которых, как и его собственное, выражали полное недоумение. Переглянулись между собой и конюха, поняв, что затевается что-то недоброе и что роль их чуть ли не окончена. Подумав немного и снова посмотрев на толпу, в среде которой хранилось мертвое молчание — признак твердо принятого решения, — конторщик встал и, собрав документы и деньги, сложил их в стол, запер его и вышел из конторы.

При редком расчете приисковых рабочих не возникает между ними неудовольствия на неправильную оценку труда, на высокие цифры, проставляемые за забранные ими товары и продукты. Подобные натяжки при расчетах с рабочим встречаются не только у тех золотопромышленников, дела которых идут плохо и с году на год грозят падением, но и при хорошей организации хозяйства, при благодарном вознаграждении произведенных затрат. Гнет этот всегда идет через руки управляющих приисками, которым вверяется распоряжение работами и вся административная деятельность на правах самостоятельных лиц. Чем больше управляющий соблюдает интересы своего хозяина, тем более гарантирует прочность своего положения, всегда завидного благодаря хорошему содержанию и полному материальному обеспечению.

Василий Никитич Кудряшев, управляющий Г... м прииском, находившимся в ведении конкурса, учрежденного над делами одной из золотопромышленных компаний, не пользовался хорошей репутацией не только между рабочими, но и у других служащих. Человек он был пожилой, с значительной проседью в коротко остриженных волосах и окладистой бородке, пользовавшийся завидным здоровьем благодаря постоянной физической деятельности. Подлобострастный и хитро вкрадчивый с высшими, он не знал границ произволу с людьми, зависящими от него.

Как все коренастые, полнокровные люди, он был вспыльчив до иступления, причем хриплый голос его сипел, глаза наливались кровью, и горе было не только рабочим, но и конторщикам и надсмотрщикам, подвергавшимся в эти минуты припадкам его гнева. Он рассыпал удары направо и налево, не разбирая ни правых, ни виновных, и считал не только ненужным, но неприличным для своего звания извиняться перед невинно пострадавшими, когда выяснялось дело.

Рабочие, окрестив его названием «крутолобый», боялись его. За Василием Никитичем было много дел, которые другому бы не прошли безнаказанно, но, находясь более чем в интимных отношениях с председателем конкурса и имея репутацию хорошего управляющего, он пользовался не-

ограниченным доверием и заступничеством в случае возникающих жалоб.

Одна неопытность или необходимость отработать забранное гнала рабочих на Г...ий прииск. Василий Никитич никогда не присутствовал при расчетах, предоставляя выносить ропот неудовольствия и нареканий конторщику. Сидя теперь в комфортабельно убранной комнате, стены которой вместо обоев были увешаны коврами, он сверял приисковые шнуровые книги и черновой отчет о приходе и расходе сумм за летний сезон. Переданное ему желание рабочих видеть его и говорить с ним неприятно подействовало на него. Откинувшись на высокую спинку кресла, он побагровел; глаза его сузились, и большой палец правой руки быстро завертелся около рта. Василий Никитич понял, зачем рабочие желают видеть его и о чем будут говорить с ним. Не сказав ни слова конторщику, он встал, надел, вместо халата, бешмет, опущенный белым мехом, и, опустив в карман небольшой шестиствольный револьвер, постоянно заряженный и всегда лежавший у его постели, вышел в сопровождении конторщика.

При входе в контору он зачерпнул из ушата, стоявшего у двери, воды в небольшой жестяной ковш и, выпив несколько глотков, отер рот и усы рукавом бешмета и взялся за дверную скобу. Но прежде чем отворил дверь, пасмурное лицо его, способное повиноваться воле своего хозяина, приняло совершенно иное выражение. Морщины на лбу разгладились, сжатый рот раздвинулся в улыбку; только глаза совершенно скрылись, чуть прорезываясь из сдвинувшихся век, да яркий румянец выдавал еще следы недавнего волнения. Василий Никитич, как и все недаром прожившие на свете люди, умел владеть собой и подавлять свой гнев, прикрывая его улыбкой там, где требовали того обстоятельства.

— Здравствуйте, голубки, здравствуйте! — улыбаясь и потирая руки, приветствовал он молчаливую толпу. И смутившись, не получая ответа от нее, быстро заговорил: — Ну, вот, слава богу, и работы покончили, по домам теперь, на покой к бабам... то-то с голодухи-то, поди, а-а... ха-ха! — сострил он, подходя к

решотке. — Ну, что, голуби, обо мне соскучились, а? Спасибо за память!..

— Мы, ваше почтение, все помним! — ответил ему Еж, глаза которого заискрились и лицо приняло собственное ему одушевленное выражение. — Только вы-то нас забыли!

— Как же это, чем же я-то забыл вас? Ба-ба-ба!.. да ты никак знаком еще мне!—вместо улыбки неприятно скривив рот, спросил он, пристально всматриваясь в него.

— Видались за лето-то!

— Помню, помню, как бишь тебя?..

Еж, ваше почтение! — подсказал он смело, в упор глядя на него.

— Да, да, да!.. Кто ж это тебя окрестил-то так, а?.. Еж... этакое имени и в святцах нет... ха, ха, ха!.. Не поп ведь, поди, а?..

— Никак нет-с... а уж так, по шерсти и кличку мир дает!

— О-о! Да ты говорок!

Таежные дорожки всякую шину вгладь оботрут, ваше почтение!

— Говоро-ок!.. — протянул Василий Никитич, чувствуя свое неловкое положение и не зная, с чего начать свое щекотливое объяснение с рабочими. — Так что, бишь... зачем вам меня-то, а?.. — спросил вдруг он, обратившись к толпе.

— Обкроили уж больно, Василий Никитич, покровки-то у вашего сукожца широки, нельзя ли поуже, сле-езно мир просит! — ответил ему Еж.

— То-есть, что же это? Я не понимаю!

Расчеты-то ваши-с на вид-то гладки-с, да наощупь шаршавы, пожалуй, и карманы протрут!

— А-а... да, да! Понимаю! Значит, по вашим покровкам расчеты-то пригнать? — шутливо спросил он.

— Обоюдное бы дело! Мы для вас радели, а вы об нас!..

— Сколько кто хочет, столько и дать, а? Так, что ли? — снова спросил он.

— Обрадовали бы...

— Знаю, знаю!.. И сам знаю, молодцы, — обратился он к толпе, — что обрадовал бы вас, да не моя воля...

Не я хозяин, вы наших дел не знаете! Я ведь и сам понимаю, что если ты... ну, как, бишь, тебя, Еж, что ли?

— Еж... так точно-с!

Ну, ты, например, взял бродни из цейхгауза... они стоят рубль...

— По ихним качествам, Василь Никитич, вся им цена — тьфу!

А знаешь ли, что, по справедливости-то, я должен бы ставить их в счет три рубля. Мне так и конкурс приказывает, а я ставлю их в два, — на свой счет рубль принимаю, чтобы только вас не обидеть! Так сколько же таких-то рублей у меня из кармана выходит?

— Не наше дело хозяйский расчет вести! — слышалось из толпы.

— У хозяев и карман-то, Василь Никитич, толще вековой сосны: есть из чего и к нашему брату снизить!.. — серьезно произнес Еж.

— У них тыщи, — снова заговорили в толпе, — а у нас крохи: у них лишнюю тыщу потрясти — горе берет, а у нас последнюю кроху отбирают!

— Сказано, что к ихней совести правда, что к сухой лопате песок, не пристанет! Вот ты бы, Василь Никитич, сам поробил, так проведал бы, каково оно! И ты бы заговорил, как у тебя стали бы твое-то добро обкраивать!

— Это кто там говорит? Покажись-ка сюда!.. — произнес, побагровев, Кудряшев.

— Кто бы ни говорил там, а ты знай слушай, да мотай на ус!

Нижняя губа Василия Никитича дрогнула, рука, сжавшаяся в кулак, уперлась в решотку, как бы ища опоры.

— Оно точно, Василь Никитич, — снова вступился Еж, — по вашим словам, хозяевам расход большой, только, на мой бы ум, за плевые вещи им бы и убытчиться не след, и мужиков бы не зорить. Лонского году торгующий завез было сюда товары, так ваша же милость приказали его выпроводить, а он не в пример дешевле брал! Тогда бы, значит, и нам бы льгота, и хозяину без разоренья! — с иронией заключил он, смотря на смущенное неожиданному аргументом его

лицо Василия Никитича. — Вот он, зипунчик-то, за лето-то, изволите видеть, кроме как на невод, никуда не пригож, а тоже 15 рубликов поставили, а ему и вся-то цена, с лихвой бы — пять!

— Зачем же брал, если он дурен и дорог? Ведь не наваливали силой!

— Оно точно! Да ведь хоша народ мы и теплый, а все своя-то овчина не греет... Холодно, и плачешь, да берешь.

— А согрелся, так и хозяйский зипун показался дорог и худ?

— Да от него согреву-то немного видали, Василь Никитич. Только слава, што на плечах зипун, а все более из своей же каменки пару в кулаки поддавали. Так уж будьте по-божески, не обидьте сирот, спустите ценки-то! Лишняя сотенка хозяйского кармана не натрудит, а бедному человеку помога. Ноне же на золотце-то урожай бог послал, а хозяевам-то заручка через наши же ручки плывет!.. У путного хозяина. Василь Никитич, сказывают, и скотина хворает, так уход видит; а ведь мы тоже божье творенье, уж снизойдите, не вычитайте хворых-то дней из платы! Навек ведь мы богомольцы за вас!

— Прежде чем говорить-то бы все это, ребята, да бунт-то затевать, — спросили бы, могу ли я еще спустить цены-то? Разве мое добро, разве я хозяин ему? Кого спросят, какое я имел право самовольно распорядиться чужим добром, вас или меня, а?..

— Известно вас, это точно-с!..

— А-а-а!.. А что же я должен буду ответить на это?

— Не мне бы вашу милость учить, да уж коли приказываете, поперек воли начальства не пойдём! Ответьте, ваше почтение, что я, мол, не скариотский Ирод, и у меня, мол, душа есть! Э-э-эх, ваше почтение, Василь Никитич! привел бы вам бог на наших-то кормах денечек побыть, так поосунулись бы, румянчик-то с личика — что девичья притирка — к ночи бы пооблез! От одного битья-то вашего не одна спинка погоду чувствует. Много православных за нынешнее лето вынесло на них зарубочек на память о вашем раденьи и добродетели к нам! Вот, Иван-то Малый совсем без ног, неси его теперь, как молоденца малого, в дом-то! При-

дет, что к пустому срубу, ни поесть, ни погреться! А вы и тут вычли все дни! Господи, да неуж к человеку у вас и жалости-то нету! Что ж, значит, и последний час кого настигнет и тут иди, робь! За мужика, ваше почтение, некому стоять; у него нет защитников, всякой только и норовит из его же овчинки шубку шить, — так уж вы, ваше почтение, в свою-то речь хозяев не путайте. Мы тоже люди бывалые. Родились-то хоша и дураками, а знаем, что вы тут хозяин, в вашей воле все! Так уж рассчитайте вы нас по-божески, а без этого мы ноне и миром положили обратной дорожки в лесу не прокладывать!

— А-ай, Е-еж, важно! И ей-богу правда!.. — пронеслось в колыхавшейся толпе все время, когда говорил он.

Положение Кудряшева было более чем жалко: бн то бледнел, то краснел, но все-таки настолько владел собой, что сохранил веселое выражение в лице.

— Молодец, Еж! Молодец!.. Теперь вижу, что недаром тебя окрестили так; — шутливо ответил он, наконец, фамильярно потрепав Ежа по плечу, чрез разделяющую их решетку.

— Он у нас парень — голой рукой не хватай, ваше почтение! — со смехом откликнулись в толпе.

— А задали вы мне, ребята, задачу! как и быть-то с вами? — задумчиво произнес Кудряшев. — Ну, я спущу цену, облегчу вас, — а что же хозяева на это скажут? Да у меня еще, молодцы, и денег-то нехватит!

— Неуж обнищли, ваше почтение?..

— В обрез, милые! Ведь нам хозяева-то присылают — не разгуляешься, а дай бог у нитки с ниткой концы сплесть!

— Свои потревожьте; хозяева вашу милость не обочут! — с иронией ответил Еж.

— Свои!.. А ты считал в моем-то кармане?

— Мы, ваше почтение, и в своих-то отвыкли высчитывать, так уж нам ли чужой мерить, глубока аль мелок?

— И спроси прежде, еще есть ли свое-то?

— Полагать бы надоть...

— Почему ж... ну-ко?

— По приметам бы...

— Каким? Что на лбу написано?

— По нашей, по мужичьей примете мы судим. На нашу сметку, ваше почтение, коли у человека денег нет, так он и ростом ровно пониже выглядит, и с лица будто темней! А человек с деньгой, не во гнев вашей милости, и белей, и румяней... и усмешка на алых устах, и живот, как у вашей же милости!

— Ну, так вот что, молодцы, слушайте, — обратился к толпе управляющий.

Толпа стихла и сдвинулась к решотке, надавив на передние ряды.

— Так и быть исполню вашу просьбу: спущу вам по рублю... довольны ли?..

Обрадовал, ха-ха-ха... ну-у! — прокатилось в толпе. — На помин по душе хватит!

— Ну, поскольку же, наконец?

— Самонастоящую хозяйску ценку прикиньте, будьте милостливы! а рублик-то мы уже на расходы жертвуем, будто как хозяйские убытки прикрыть...

— Не мелко же ты забрел, любезный!

— В глыбком месте более простору, ваше почтение, по крайности, есть где поплавать, ручки, ножки расправить.

— Не могу! — решительно ответил управляющий.

— Ва-аше почтение!

— И не просите, не могу! Что можно сделать, то сделаю по совести. А больше не просите!

— Ах, ваше почтение, на все бы власть ваша, да уж коли вы не можете — что ж, и мы свое слово колышками подопрем!

— Слово... какое слово?

— Обратной дорожки в лесу не протаптывать!

— Силой хотите принудить, что ли?

— Силой-то и детеныш у матки молока не выпросит, а все более лаской, ваше почтение! Мы с доброго слова просим!

— Вы одумайтесь, чего вы просите!.. — прервал его взволнованным голосом Василий Никитич.

— Одумайся-ко ты, ваше почтение! — выдвинувшись к решотке, произнес Фрол Иваныч. — Наша-то дума надумана.

По лицу Василия Никитича внезапно пробежало веселое настроение. Он широко улыбнулся, раскрыл глаза, в которых просвечивалась лукавая насмешка.

— Ну, что ж... ребята, как же, а? Хозяйские цены взять, что ли, а?.. — весело спросил вдруг он, — а?.. обрадовать...

— Истинно, ваша милость! То-ись, ах, как обрадуйте!

— А надброс-то ваш братъ, а? — заигрывающим голосом продолжал он.

— Рублик-то-с?

— Ха... ха... ну, ну, что делать! — обратился он к конторщику. — Уважим им, Николай Дмитрич! На будущий год, может быть, и они нам за это горы разгребут! Так, молодцы, что ль?

— Озолотим!.. — почти в голос ответила толпа.

Более прозорливому наблюдателю невольно бы бросились в глаза и внезапная беспричинная веселость, неподдельно выразившаяся в лице Василия Никитича, и уступчивость этого человека, за минуту еще упорно стоявшего на своем. Все это неминуемо породило бы сомнение в справедливости его слов. Но не таков был стоявший перед ним простодушный, доверчивый народ, принимавший всякое слово за чистую монету. Только конторщик догадался, что Василий Никитич задумал что-то, да в уме Ежа мелькнуло недоверие.

— Значит, ваше почтение, по хозяйским ценам рассчитаете нас? — спросил он.

— Ведь я сказал! Что ж еще?

— И у больных не вычтете? — тем же тоном спросил он, пытливо и недоверчиво смотря в глаза его.

— Я, братец, не привык обманывать! Понимаешь?

— Пошли вам господи!.. Простите, что пообидели...

— Вот это дело! Наговорить-то, ребята, вы много наговорили мне. Особливо вот ты, братец, напел! — обратился он к Ежу. — Не злопамятен я, всегда готов для человека добро сделать!..

— Простите, коли лишнее что сгрубил, ваше почтение!..

— Я добрый, ребята!

— Ужо уж при получке похвалим, ваше почтение!..

— Ну, получку-то, молодцы, вам все-таки подождать

нужно. Ведь вас 150 человек, переделать-то все расчеты не легко; дня три-четыре нужно. А теперь, за то, что поладили делом, — так и быть, уж распорядись, Николай Дмитрич, выдать им по чарке водки!

И заликовал прииск после поднесенной чарки водки, зашумел в бараках говор, полились и веселые песни, и не было счета благословениям и похвалам из простодушных уст добродетельному Василию Никитичу, который, через час после этой сцены, послал донесение о бунте рабочих с надежным верховым конюхом горному исправнику, резиденция которого находилась в 80 верстах от этого прииска.

Через двое суток на прииск прискакал исправник, в сопровождении конвоя казаков. Следствие о беспорядках было непродолжительным. Главные зачинщики Еж, Фрол Иваныч и Памфил Карпыч были отправлены в Т... острог, остальные, под конвоем, препровождены обычным порядком.

Не прошло и полугода, как Фрол Иваныч и Памфил Карпыч, оставленные по приговору судебного места в подозрении, были выпущены из острога без всяких последствий. Старик Фрол не покинул Ежа до самого решения дела. Пропитываясь милостыней, он оделял его деньгами и утешал теплым словом. Ежедневно, во всякую погоду, можно было встретить его идущего в острог или со связкой крендельков в руках, или с булкой и с туяском молока. С искренними слезами горя на глазах он проводил его по широкой дорожке, проторенной не колесом, не копытом, а людским горем...